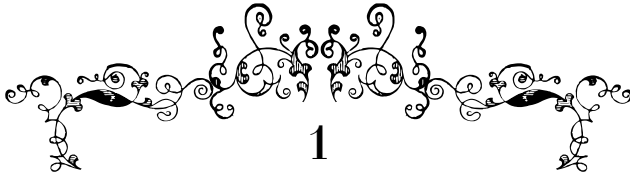


*Il caro amante
non siegue il piede
e fido resta ... ma non con te.*

*(Твой возлюбленный не уклонится с пути,
останется верен..... но — не тебе).*

Георг Фридрих Гендель «Альцина»,
ария Руджеро



Цвингер и... цвингер



Морозное солнце вызолотило на паркете четыре квадрата. По-беличьим цокали часы, высокие, башенкой, и на звериных когтистых лапах. От двери обер-гофмаршальского кабинета резко и радостно пахло красками. Слышно было, как напевает вполголоса художница, девица Ксавье.

Дворцовой конторы начальник, обер-гофмаршал Лёвенвольд, пригласил мастерицу, чтобы та украсила стены кабинета росписью в виде птиц и цветов и диковинных махаонов. Иногда вскрикивали и сами птицы в клетках, в изобилии расставленных по кабинету, — художница писала с натуры. Девичье пение, сладкий щебет, журчащие прохладные трели — казалось, что там, за прикрытой дверью, прячется райский сад.

Ижендрих Теодор фон Окасек, секретарь Дворцовой конторы, сидел в приёмной, вытянув ноги в тёплый солнечный квадрат, с улыбкой ловил краем уха долетающие от двери пение и щебет, и вязал на спицах салфеточку. Страсть к вязанию обуяла питомцев Дворцовой конторы мгновенно и беспощадно, словно чёрная оспа. С тех пор, как стало известно, что патрон, обер-гофмаршал, вяжет — за спицы разом принялись все, и простые, не обер, гофмаршалы, и мундшенки, и даже актёры. Сам лейб-концертмейстер Даль Ольо перед репетицией демонстрировал музыкантам то ли чепчик, то ли косынку, безобразного кадавра, связанного собственными руками, — и никто не посмел смеяться, ведь маэстро Даль Ольо слыл опаснейшим интриганом и отравителем.

Фон Окасек отсчитал петли, понял, что запутался, ошибся, и принялся распускать. Жаль было смотреть, как опадает ажурная пена — но гармония дороже всего.

— Прошу прощения, ваше благородие, — послышалось от входной двери, одновременно с легчайшим деликатным стуком, — нам бы секретаря, господина Ижендриха Теодора.

Фон Окасек поднял голову от вязания — он ещё не видел вошедшего, но тот заранее был ему симпатичен. Здесь, в краю лентяев и невежд, имя гордого цесарца-секретаря чаще произносилось простецки — Андрей Фёдорович (Ижендрих — Генрих — Анри — Андрей), и подобная метаморфоза не могла не ранить. Неужели трудно запомнить правильно? А второе имя — оно отнюдь не отчество.

В дверях приёмной переминался, не решаясь войти, господин, стройный, в дорожной одежде, с лицом землистым и будто опавшим после долгого путешествия, но при том с глазами столь яркими и светлыми, что они выделялись на бледном лице, как бриллианты. Сапоги его, и трость, и перчатки — были немалой цены, и подобраны друг к другу со вкусом. Окасек знал, что это главное, остальное в дорожном наряде может быть каким угодно.

Из-за спины у гостя выглядывал мальчик лет десяти, тоже нарядный, толстенький, высокий — как веретено. Этот румян был, и бойко стрелял глазами, дорога, видать, не так уж его и утомила.

— Ижендрих Теодор — это я, — секретарь переложил на бюро своё рукоделие, поднялся навстречу визитёрам и жестом пригласил зайти. Жест был скопирован у его начальника, обер-гофмаршала, пружинистый, почти балетный пируэт. — Чем могу служить?

Гость извлёк из-за пазухи заготовленную записку:

— Мой превосходительный патрон, его сиятельство граф Лёвенвольд, велел явиться в приёмную Дворцовой канторы своему покорному слуге, доктору медицины Якову Ван Геделе.

Гость поклонился, и кудри его взлетели живой волной.

Окасек позавидовал. Натуральные волосы — щедрый подарок фортуны, сам секретарь давно маскировал лысину пышно взбитыми голубиными крыльями, состриженными с невезучих дворовых блондинок.

— Я вижу, вы сдва из дорожной кареты, герр Ван Геделе... — Секретарь развернул записку, пробежал глазами и кисло сморщился. —

Патрон наш в своей стихии. Так в русских сказках рыцарь обращается к Бабе-яге — прими, накорми, спать уложи. Я должен определить вас на квартиру, которой нет у меня, и что делать со службой — пока вы ехали, наш легкомысленный патрон уже нанял себе другого хирурга, а двое хирургов ему ни к чему. Вот что делать? — В голосе Окасека зазвучала растерянность. — Садитесь в кресло, ждите — пускай его сиятельство явится и разберётся с вами сам. Я поистине не знаю... Вы и сынишку изволили притащить с собою...

Помянутый неуместный сынишка тем временем, привлечённый запахом краски, и пением, и щебетом птиц, встал у двери кабинета и почти в неё просочился.

— Оса, не смей! — устало, почти без голоса окликнул доктор Ван Геделе.

Едва услышав, что патрон взял на его место другого, этот доктор тотчас помертвел лицом, словно мгновенно покрылся серым пеплом. Яркие глаза его померкли, движения сделались тяжелы, он навалился на трость, разом подкошенный и долгой дорогой, и крахом надежд.

— Пусть поглядит, — милостиво позволил Окасек, — там художница рисует, и птички разные, ему забавно это будет — ведь дитя. А вы садитесь в креслице, отдохните, я шоколаду прикажу для вас подать. — Секретарь будто извинялся за патрона. — Как-нибудь да устроится ваша партия...

Маленький Оса бочком скользнул за дверь — слышно стало, что прервалось пение, и художница высоким звонким голосом что-то ему сказала, а Оса — басовито и важно ответил.

— Познакомились, — умиротворённо констатировал Окасек.

Он потянулся к шнуру на стене, дёрнул дважды — то, видимо, был некий условный звонок, для подачи шоколада.

Доктор обречённо расстегнул тяжёлый, волком подбитый плащ, уселся в кресло ждать и закинул ногу на ногу. Окасек машинально мазнул взглядом по задранному высоко сапогу — какова подошва? — и, кажется, проникся к гостю ещё большей симпатией. Поглядел на ногти, на перстни — да, достойный человек, поистине жаль, что такая постигла его ан-фортуна...

В коридоре послышался шум от множества колёсиков — лакей привёз шоколад. Распахнулись створки, вкатилась тележка с ко-

фейником и чашками, крошечными, нежно-прозрачными, как лепесточки жасмина. Лакей, гибкий парнишка, поклёванный оспой столь жестоко, что и пудра не в силах была спасти, принялся разливать шоколад по чашечкам, пританцовывая от усердия. Шоколад пахнул дразняще, упоительно и лился такой тягучей медленной струёй – и доктор, и секретарь одновременно невольно слотнули.

– U-la-la... Какой сюрприз, явиться домой с морозного ветра – и обрести на пороге неожиданное счастье!

Два господина вошли в приёмную, оба в шубах, оба нарядные, во вскипающей пене испанских кружев, и со столь искусно напудренными и прорисованными лицами – несомненно высочайшего полёта птицы. Один был росл и румян – румянец пробивался даже через слой его пудры. Он тут же взял со столика чашечку и отпил глоток, и губы его из карминных сделались шоколадного колера. Второй был чуть выше его плеча, хоть и на каблучках – весь в золоте, и в мушках, и с муфточкой – сам обер-гофмаршал. Он, пусть и громко обрадовался шоколаду, пить не стал, побоялся, наверное, за обведённые помадой губы.

Доктор и секретарь вскочили с кресел, словно марионетки, поднятые кукловодом, и одновременно раскланялись.

– А вот и мой подарок для тебя, папа нуар! – обер-гофмаршал разглядел доктора и тут же, как ребёнок, хлопнул в ладоши – так обрадовался. – Вот он, мой вчерашний карточный долг. Отдаю! Ты же говорил, что доктор у тебя в крепости помер, так вот, забирай моего, он лучший, с лейденским дипломом, и не говори потом, что младший Лёвенвольд не возвращает долгов.

Папа нуар... Высокий, нарядный, румяный господин оказался не кто иной, как ужасный великий инквизитор, Андрей Иванович Ушаков. Доктор взгляделся в него, узнавая, – как-то прежде уже доводилось видеться. И Андрей Иванович взгляделся, узнавая, – этот дракон всегда всё помнил – и узнал.

– Что ж, граф, спасибо, сего лекаря я знаю, если сторгуемся с ним в цене – то и с тобой я в расчёте. Сам ведаешь, лекарь нынче пошёл балован, а казённое жалование мизер, особенно для тех, кто в Европах живал...

Лёвенвольд говорил по-немецки, папа нуар по-русски, но то было обычное дело при русском дворе, придворные говорили

по-разному, по-русски, по-немецки, по-французски, по-цесарски, и даже на смеси всех четырёх языков, но понимали всегда всё.

Обер-гофмаршал не ответил ему ничего, только рассмеялся — словно звякнул серебряный колокольчик. И доктор молчал, потрясённый внезапным поворотом своей — то ли фортуны, то ли всё-таки ан-фортуны. Инквизитор поставил опустошённую чашечку на стол, салфеткой стёр с губ шоколадные усы, доктору сказал неторопливо:

— Дела прими у Хрущёва, он проводит тебя. Если во всём сойдётся — станешь наш.

Шуба кольхнула, стукнула трость — чёрный папа уплыл прочь в своих чёрных водах. Обер-гофмаршал замер на мгновение в дверях, играя хвостиками муфты, бросил секретарю:

— Мальчик мой, я на каток, потом к герцогу — пускай не ищут... — И доктору, столь же быстро: — Прости, Яси, но всё же к лучшему вышло, правда? *Vonne chasse!*

Имелось в виду шаловливое придворное — удачной охоты!

И пропал — каблучки и тросточка застучали по коридору, переплетаясь с тяжким ушаковским шагом.

Тут же, словно из ниоткуда, как месяц из тумана, вышел обещанный Хрущёв — белёсый, буланый, точно перхотью присыпанный, ассессор Тайной канцелярии. Он, наверное, просто шёл след в след за хозяином, но доктору показалось, что явился он, как демон, призванный чернокнижником, — по щелчку хозяйских пальцев.

— Можно шоколадку? — застенчиво поинтересовался Хрущёв. — На дворе морозец адский, аж уши трещат!..

Голос у ассессора был высокий, звонкий мальчишеский альтино. Хрущёв явно побаивался красивого, округло-холёного гофмаршальского секретаря, хотя был с ним, по расчётам доктора, примерно в одном чине. И доктор с изумлением про себя отметил, что красивый холёный гофмаршальский секретарь отчего-то сам, несомненно, боится Хрущёва.

— Прошу.

Окасек сделал знак лакею, и тот протянул ассессору благоуханную чашечку.

Хрущёв взял, осторожно, бережно, и мельчайшими глоточками принялся пить, аж покрякивая от удовольствия. Уши его, оттопыренные, как два крыла, жарко пламенели.

— Что же мне делать с дочкой? — растерянно проговорил доктор Ван Геделе. — Ведь не годится — ребёнка, и тащить с собою в крепость.

— С дочкой? — переспросил Окасек, а Хрущов непонимающе уставился поверх чашки.

— Девочке легче путешествовать в мальчишечьем, — пояснил доктор, — Оса — дочка, не сын.

— Грешно, но практично, — вдруг вставил Хрущов, и два собеседника взглянули на него с изумлением — столь неожиданным показалось им это резюме.

— Вы можете оставить девочку со мною, герр Ван Геделе, — елеинным голосом вымолвил секретарь. — Его сиятельство отбыли до вечера, а то и до ночи. А мне нетрудно будет приглядеть, и фройляйн Ксавье просто о-бо-жает деточек... Заберёте малышку, как завершите дела свои в крепости.

— Благодарю! — доктор подошёл к двери кабинета, заглянул в щёлочку — художница, долговязая, в мужских штанах, на вершине стремянки что-то малевала по стенам кистью, а серьёзная Оса изнизу подавала ей то тряпочку, то краску. — Надеюсь, девочка вас не стеснит...

— Ничуть! — за Окасека ответил удивительный Хрущов. — Хватит расшаркиваться, побежали, доктор. Если хотите ребят застать — а то ведь по домам уйдут, смена ночная давненько кончилась.

Часы, как по заказу, поднатужились и скрипуче пробили одиннадцать. Хрущов наклонился, поглядел рыбе-выпуклыми голубыми глазами на когтистые львиные лапы, сказал задумчиво:

— Надо ж — ноги... аллегория — бег времени. Побежали и мы.

И, подхватив доктора под руку, споро и бесцеремонно потащил за собой.

Оса, едва заглянув в эту комнату, разом позабыла — и про папеньку, и про долгий снежный путь от Варшавы до Петербурга, когда волки гнались с жутким воем за их санями. И про обещанного патрона, который — «наш добрый гений», и про долгожданный город Петербург, поутру, при въезде, оказавшийся неказистым, нелепым и плоским — куда до Варшавы! У Осы как ветром — здешним, русским, свистящим — выдуло из головы прежние впечатления, оча-

рования, разочарования и надежды — столь чудна оказалась волшебная комната-шкатулка.

Штор не было, и зимнее солнце нахально и резво обтанцовывало стены — по кругу, ведь не было тут и углов. Три стрельчатых окна глядели в сад, снежный, со спелёнатыми мумиями разновысоких версальских топиаров. Вдоль стен тянулись ввысь витые греческие фальшь-колонночки, резные, золочёные — и все они разом сходились в единую точку на сводчатом потолке. Эта комната была — клетка. Цвингер. Перевитые колонночки — прутья клетки, из-за которых узник и глядит на окруживший его райский сад. Райский сад представлен был на стенах весьма подробно: и розовые голенастые фламинго, и журавли с переплетёнными шеями, и два павлина, с растопыренным хвостом и со сложенным (эти — на земле), и радужные попугаи, и серебристые чайки, и снегири, и сойки (эти — парили), и множество ещё неизвестной птичьей мелочи, неузнаваемой, от того, что не раскрашены, только обведены контуром в лазоревом небе. Мебель прикрыта была рогожей, и на полу, и на стульях, и на столе стояли клетки — с такими же птичками, как на стенах, но только с живыми, поющими и трещащими на все голоса.

— Здравствуйте, мальчик!

Оса сперва и не увидала его, парня на стремянке, в белом матросском платке. Нос в краске, палитра в руках — конечно же, сам художник.

— Джень добры, бардзо пшыемне ми пана позначь, — поздоровалась Оса по-польски.

Художник заговорил с ней по-русски, но Оса из вредности решила — нечего баловать. Папенька дома говорил и по-русски, и по-немецки, и по-французски, и даже по-фламандски, но отчего-то Осе захотелось именно польским приветствием озадачить этого глазастого, краской перемазанного живописца.

— И я не мальчик, я — девочка, — прибавила Оса уже по-французски. — Девицам легче путешествовать в мужском платье.

Художник французской речи явно обрадовался, и отвечал Осе — на том же языке:

— Девичам что угодно легче делать — в мужском платье. Ваша покорная слуга — тоже девица в мужском, Аделина Ксавье. А вас как зовут, смелая путешественница?

— Анастасия Анна Катарина Ван Геделе, но вы можете звать меня Оса, — представилась Оса, и тут же спросила сама: — Что за чудной заказчик у вас, мадемуазель Ксавье? При такой композиции он, получается, будет сидеть в клетке?

— Вы знаете про композицию? — отчего-то развеселилась девица Ксавье. — И да, у его сиятельства такой юмор — он именно пожелал сидеть в клетке и созерцать из-за решётки недоступный райский сад. Вы не подадите мне вон ту тряпочку и баночку с чёрной краской?

— С сажей! — сурово поправила Оса. — Я знаю названия красок. — Она подобрала на полу и тряпочку, и баночку и подала художнице. — Для богатого чёрного цвета следует смешать красный, зелёный и синий, а не пользоваться сажей. Иначе выйдет плоско.

— Это фреска, чёрный контур и должен быть плоским, — рассмеелась мадемуазель Ксавье. — Вам знакома живопись?

— Мне девять лет, мне ещё даже альбома не покупали, — мрачно проговорила Оса. — Я писала акварелью, в маменькином. И пастор Захариус меня немножко учил. А потом маменька с сестрицей померли, и папёнка собрался на новое место в Петербург. И опять сделалось не до альбома.

— Ах, как жаль! — воскликнула девица, то ли про маменьку с сестрой, то ли всё же про несбывшийся альбом.

Тут в приоткрытую дверь просунулся папёнка и громким шёпотом сказал:

— Я оставлю у вас малышку, на час или два, Ижэндрих Теодорович пообещал приглядеть...

Девица Ксавье не успела ни отказаться, ни согласиться — дверь закрылась, и папёнка за нею, судя по всему, был таков. Оса, впрочем, ничуть не огорчилась — ей хотелось побыть подольше и посмотреть на хозяина комнаты, русского обер-гофмаршала, их доброго гения — как прежде звала этого господина покойная маменька. Каков он? Так ли красив, как на портрете у маменьки в альбоме? И почему пожелал очутиться в клетке?

Оса в задумчивости нарисовала на рогоже цветок, одной зелёной краской и единственной тонкой кистью, но получилось всё равно ничего себе. Художница спустилась со своей лесенки – прыгнула, как кузнечик с травинки – и подошла поглядеть:

– Ты – чудо-дитя?

«Сами вы!..» – чуть не сказала Оса.

А ещё художница, образованная дама...

– Я не чудо-дитя, я не умею читать мысли и умножать в уме трехзначные числа, – ответила Оса наставительно и с укором. – У нас в Варшаве подвизалось одно чудо-дитя, из дворни пана Потоцкого. Мальчик одиннадцати лет, умножал трехзначные числа, читал по губам и помнил Библию наизусть. Он потом скончался от умственной горячки. А я всего лишь нарисовала ромашку берлинской зеленью. Меня нельзя показывать в салонах.

– И слава богу! – рассмеялась художница. – Но вы так верно чувствуете линию, мадемуазель Оса, и у вас так здорово поставлена рука! Вы, несомненно, талантливы.

– Но всё же не умножаю в уме друг на друга трёхзначные числа...

Кто-то приоткрыл дверь и зашёл, но Осе важно было продолжить свою мысль. Чудо-дитя – это даже звучало униженно.

Вошли двое, маленький мальчик и с ним рослый тип в сиреновом, с коробкой под мышкой, судя по парик и по туфлям – дядька. Мальчик был младше Осы и куда меньше ростом, зато нарядный – как будто игрушечный. Он разглядел Осу, в её мальчишеском, и явно сморщился от отвращения.

– Мой брат легко умножает в уме трёхзначные числа на трёхзначные, – сказал мальчишка с сердитой гордостью.

– И его показывают в салонах? – уточнила Оса.

– Его из салонов за уши не вытащишь! – хохотнул мальчишка.

Он был красивый, как фарфоровый пастушок, в подвитых локонах, и, несмотря на возраст, изрядно напудрен.

Мадемуазель Ксавье представила детей друг другу:

– Шарло, перед вами Анастазия Анна Катарина Ван Геделе, путешественница, девица в мужском платье. Оса, перед вами юнгер-дюк, его светлость герцог Карл Эрнест Бирон. Его светлость оказали мне милостивое покровительство и неоценимую помощь в поиске природы...